Борис Носик

Смерть секретарши

Часть сборника
Смерть секретарши (сборник)

Борис Носик

Смерть секретарши

«Автор»
2007

Носик Б. М.

Смерть секретарши / Б. М. Носик — «Автор», 2007

"…Когда Риточка сказала ответственному секретарю Юре Чухину, что ей надо с ним серьезно поговорить, Юра струхнул. Он не любил этот тон и не любил серьезных разговоров. Это могло означать, что ей что-нибудь от него нужно, а этого он тоже не любил. И вообще, не так уж трудно было догадаться, о чем может идти речь. Влюбилась, понесла, украли профсоюзные деньги… И он должен помочь. Юра наперечет знал эти их шутки и не склонен был верить ничему из того, что она собиралась ему рассказать. Однако пустить это дело на самотек в период оформления – ни в коем случае. Да, это правда – он ночевал у нее два раза за последние три месяца, но это еще не повод… Он был морально готов к любому разговору и сказал, что согласен, но только не сегодня. И не завтра. Вот, если хочешь, послепослезавтра, в четверг после работы, часов в восемь заеду, идет? Только не здесь, не в редакции, ради Бога, сама понимаешь… Черт его знает, какой оборот может принять разговор – лучше вне редакции. К тому же если это у нее дома, то все неприятности еще могут завершиться приятностью…"

© Носик Б. М., 2007
© Автор, 2007

Борис Носик
Смерть секретарши
Эротический детектив времен застоя

Строго говоря, никакой такой особой потребности обмывать новую квартиру фотографа Гены Бурылина у сотрудников редакции не было. Совместные редакционные попойки часто, даже, можно сказать, вполне регулярно происходили тут же, в помещении самой редакции (была даже выработана система частичной и полной маскировки, а также осадного положения на случай прихода большого начальства) – попойки в связи со сдачей номера, с получкой, с приходом автора, который хотел угостить редактора, а кроме того, небольшие редакционные торжества по поводу дней рождения, именин, народных и революционных праздников. Попойки возникали естественно, непринужденно, все происходило тут же, на месте, так что можно было задержаться на час-другой после работы, а не тащиться в это самое Ясенево-Бирюлево-Борисово где-то на краю света – то ли еще Москва, то ли уже Тула, – в котором фотограф получил эту свою долгожданную, малогабаритную квартирку со всеми удобствами, если не считать неудобством малогабаритность квартиры, а также транспортные, продовольственные и прочие тяготы района, столь решительно удаленного от центра Москвы. Как уже было сказано, никакой такой острой потребности собираться в тесном редакционном кругу у сотрудников не было, потому что от одного рабочего дня до другого никто не успевал соскучиться по этому своему кругу, да и вообще, что в пьяном, что просто в хмельном виде сотрудники были известны друг другу достаточно хорошо и даже вполне успели надоесть. Что касается самого Гены Бурылина, малоразговорчивого и в меру остроумного молодого парня, имеющего, как большинство фоторепортеров, элегантный и даже заграничный вид, то для него этот дорогостоящий сабантуй, хотя и не был особенно желанным и нужным, тем не менее был неизбежен как роды во время беременности, ибо уже год или два, приветствуя его в коридоре Дома печати, все знакомые и сотрудники неизменно осведомлялись, как у него дела с квартирой, и при этом прибавляли игриво: «Вот ужо обмоем!» Квартиру эту, как всем было известно, выбил для Гены шеф, надежный человек, который раз обещал – постарается, так что на сабантуй непременно должен быть приглашен шеф, которому тоже нельзя отказываться, отрываться от рядовых масс – такая уж игра, тем более что и масса ведь в редакции бывает и не вполне рядовая, и не такая уж массовая.

Менее скучным это путешествие в Бирюлево-Борисово представлялось редакционным женщинам, которые составляли меньшинство и которых приглашено было две (третья, как жена Валевского, не в счет). А именно – секретарша главного Риточка и литсотрудник Лариса. Обе они осуществляли свою вполне активную и не вовсе уж тайную личную жизнь в рамках редакции, так что подобное сборище было для них хотя и не всегда легким, но всегда увлекательным плацдармом для дальнейшего развития или завершения старых связей, для открытия нового счета или сведения счетов. Что касается редакционных мужчин, то все они, за исключением новосела Гены и разъездного корреспондента Коли, были женаты и предпочли бы производить все передислокации в менее многолюдном собрании.

Шеф оказался на высоте. Он добыл для редакционного выезда какой-то казенный автобус – будто на похороны или на картошку, – так что поездка на край света оказалась менее утомительной и нудной, чем можно было ожидать. Женщин тот же самый казенный транспорт отвез в Генино жилье заранее, чтобы они помогли холостому фотографу в сервировке стола и прочих приготовлениях, так что, когда участники торжества после путешествия по многокилометровым однообразным кварталам ввалились наконец в ярко освещенную, с незанавешенными черными окнами Генину квартирку, они были вознаграждены зрелищем изобильного стола с

разнообразными, давно исчезнувшими из широкого обихода, но все же существующими где-то в тайниках этого мира приятными для взгляда закусками и столь же разнообразными, хотя и более привычными, бутылками русского и заграничного производства.

Рита и Лариса успели не только сервировать стол, но и на себя навести окончательный марафет, так что они предстали перед мужской массой истинным украшением этой еще не обставленной и, если подходить придирчиво, вполне убогой и банальной (впрочем, есть ли смысл становиться на позиции гнилого эстества, консумизма и погони за ненужными, не обеспеченными еще экономической реальностью уровнями?) малогабаритной квартирки. Лариса раскраснелась – то ли от плиты, то ли от предвкушения и косметики – и предстала той, кем она и была на самом деле, вне сферы отечественной журналистики, а именно молодой женщиной, достаточно привлекательной по своим внешним данным и своему женскому существу; что же касается маленькой, такой уютной, такой умелой, порхающей Риточки, то она, конечно, снова в который уж раз оказалась кстати на своем месте и вообще была прелесть, о чем не мог не подумать с гордостью почти каждый редакционный мужчина, за исключением разве что Валевского, который, во-первых, еще не явился, так как должен был встретиться где-то в метро со своей женой Ниной, а во-вторых, не имел бы в данном случае никаких оснований для мужской гордости, о чем будет непременно доложено автором в свое время и в соответствующем месте повествования.

Ко времени приезда гостей хозяин и его симпатичные помощницы уже находились в легком подпитии и приятном возбуждении от своего дружелюбного и такого успешного сотрудничества, так что, сталкиваясь с неизбежностью на тесных путях от кухни до стола, они ласково друг друга оглаживали, а однажды, похлопав Ларису по ее вполне привлекательному крупу, Гена воскликнул: «Ого! Есть за что бедняку подержаться!» – на что Лариса ответила с обычным своим журналистским задором: «Куда только глядят наши импо-83?»

Впрочем, здесь не было настоящего вызова, так как Ларисе было доподлинно известно, что у Риточки уже с год примерно бывали с Геной кое-какие отношения, и, хотя этому нельзя было, конечно, придавать слишком серьезное значение, Лариса не хотела предъявлять на него никаких претензий и вступать в конкурентную борьбу, поскольку ее добропорядочность была в этом случае поддержана почти полным отсутствием интереса к молодому фотографу. Ларису, увлеченную журналистикой, гораздо больше привлекали мужчины, искушенные в деле письменной пропаганды и к тому же повидавшие свет. Таковы, хотя и в разной степени, были, на ее взгляд, сам шеф, международный обозреватель Владислав Евгеньев, ответсек Юра Чухин и даже замглавного Колебакин, так что поле деятельности было достаточно обширное, хотя женским чутьем Лариса угадывала, что и на этом поле Риточка выступает как ее вполне удачливая соперница, и при всем своем добром отношении к Риточке понять этого Лариса, честно сказать, не могла. Чтобы понять это, Ларисе нужно было бы, по меньшей мере, стать мужчиной, потому что автору, например, это совершенно понятно. Автор, к примеру, ни за что не сел бы на одном поле с боевитой журналисткой и никогда, к примеру, не увлекся бы ни знаменитой Ларисой Рейснер, ни, скажем, Татьяной Тэсс (если бы даже обе они были сейчас на сто лет моложе и, в свою очередь, могли бы увлечься автором), ибо, как подавляющее большинство мужчин, автор ценит в женщине скорее женственность, чем боевитость и принципиальность, и он вовсе не любит, когда ему вдруг сообщают с последней прямотой, панибратски хлопая его по хилому плечу:

– Я тут, старик, отлудила вкусный кусочек о продленке на арендном беспривязном содержании.

Впрочем, не будем брать на себя слишком много и высказываться как бы от лица всего мужского пола, потому что вполне могут найтись, особенно среди вольных художников и безвольных инженеров, отдельные мужчины, которых привлечет такая вот активная женщина и которые ощутят через нее связь с влиятельным и всепобеждающим миром достижений, так

что, укладывая ее в постель, эту женщину, они будут чувствовать, что они как бы приобщаются через это к миру больших побед, а может, даже кладут его на спину и на лопатки; все случается, ибо сколько существует суровых мужчин, столько существует и вариантов человеческой слабости. И единственное, что хотел здесь сказать автор, это то, что все его герои-журналисты принадлежали к наиболее близкому самому автору фаллократическому типу мужчины, и оттого женственная Риточка привлекала их куда больше, чем боевитая Лариса, хотя, надо сказать, и последняя тоже одерживала в своем втором эшелоне пусть и недолговременные, но вполне многочисленные победы.

В общем, описываемое нами служебное торжество представляло собой вполне типичное сборище сотрудников довольно типичного русского учреждения, где (по невольному признанию зарубежного социолога Шляпентоха, променявшего наш русский секс на ихнюю чечевичную похлебку) существует гораздо больше сексуально-социальных устремлений, чем в каком-нибудь американском офисе подобного типа, – на том и стоим, руку, товарищ.

С другой стороны, было бы непростительным упрощением сводить все мероприятие к выпивке и голым сексуальным устремлениям, тем более что на данный момент и выпито было не много, да и ясно было, что в сложившейся ситуации (при наличии одной Ларисы и одной Риточки на такое большое количество мужчин-сотрудников), вероятнее всего, никому не светило по части любовных удовольствий, тем более что после ужина все, кроме Коли, должны были спешить в лоно семьи, так что вечеринка пошла по пути дружеских тостов, пожеланий счастья и творческих успехов, а также почти интеллигентного трепа. Это было тем более уместно, что уже прибыл Валевский со своей уборщицей Ниной. (Нина давно уже была женой Валевского и нигде не была уборщицей, но отчего-то всякому приятно было припомнить про себя этот несущественный факт ее биографии, который раньше, до того как она вышла замуж за Валевского, не мешал мужчинам-сотрудникам весьма интенсивно и вполне демократически общаться с ней.) Валевский был в некотором смысле мозговым центром редакции, да и шеф, присутствовавший за столом, имел про запас некоторые свежие новости. Вначале он вполне конфиденциально сообщил собравшимся, что в Афганистане еще пока не все вполне в ажуре, да и в Польше тоже, потом на бис повторил историю о том, как он выбивал у зампредисполкома эту вот Генину квартирку:

– Я ему говорю: как острый момент, так вся надежда на печать, а чем вы поворачиваетесь к печати… Вот началось в Польше – их печать на мели, некому настоящую, правильную газету выпустить, и кто ее выпускает на сегодняшний день: мой же товарищ. Я же его послал выпускать им ихнюю пшя-пшя-крев… И я же потом этому товарищу не могу обеспечить жилплощадь?

– Это, значит, так: я ездил в Польшу, а квартиру Генке? – усмехнулся ответсек Юра Чухин. – Геннадий, с тебя причитается. Наливай!

Наибольший эффект произвело за столом сообщение о недавней смерти Беляева в Рио. Беляев был их прежний главный, который получил посла в Бразилии, где ему на днях во время купания в океане акула оттяпала всю нижнюю часть тела.

– Референт кричит: «Пал Игнатьич! Что с вами?» Потянул его за руки, а снизу ничего нет…

– И кровь по воде, как в кино, – сказал Гена.

– Ему, собственно, нижняя часть уже давно была не нужна… – вполголоса сообщил Владислав.

– Верхняя, откровенно говоря, тоже, – сказал старый фотограф Болотин и отчего-то поежился.

– А где происходили похороны? – поинтересовался Колебакин.

За столом возникло нехорошее молчание. Многие заметили, что Болотин отер пот с посеревшего лица.

– Ну что мы все о таком печальном, все Афганистан, акула, – сказал он. – Мы же веселиться пришли. Умер-шмумер, был бы здоров.

Эта нехитрая шутка разрядила обстановку, и все, даже торжественный Колебакин, заулыбались.

– Что-что, а это они умеют, – сказал Юра Чухин, хлопнув по пыльной спине старика фотографа.

– Таки умеем, – согласился Болотин. И встал со своим бокалом для тоста. Все поднялись.

– Да, именно это – поверхностный юмор и разъедающая душу рефлексия, – вдруг быстро заговорил Валевский, как будто стоячее положение обязывало его говорить. – Все эти циничные шуточки, точнее сказать, хохмочки…

– Мне кажется, мы просто хотели выпить, – сказал Болотин.

– Да! – воскликнул Валевский. – Да. Я предлагаю выпить за глубокий, за трагически глубокий русский характер, за душу народа.

– Это да, это конечно, – сказал шеф, и все стали чокаться.

Можно было предвидеть, что такой тост будет произнесен и что предложит его Валевский, неожиданность была лишь в том, что предложение это последовало слишком быстро, а это значило, что они взяли высокий темп.

– Хорошо сидим, – сказал Чухин и обернулся к Владиславу, спросив его с подначкой: – Вот там уж так не посидишь, в загранке, правда, Евгеньич? И не нальют как следует, и закуски не будет?

– Даже не в этом дело, – сказал обозреватель, легко клюнув на приманку, поскольку пьянел быстро, а захмелев, ощущал мир как некую дружелюбно-сочувствующую среду, в которую можно выплакать свои печали. – Не в том дело, что не хватает у них чего-нибудь, продуктов или питья, хотя, может, и не мечут они все на стол, как наш нищий фотограф, но в том дело, что поговорить там совершенно не с кем. Не о том думают, не так думают и совершенно ни черта не понимают.

– Что-то даже не верится, – сказала Лариса, поправив челку и придав глазам выражение одухотворенное и даже слегка одержимое. – Не верится, что нет там у них людей прогрессивных, верящих в нашу идею, людей умных и, наконец, просто симпатичных.

– Вот о них-то и речь, о прогрессивных и симпатичных. Это не я первый заметил – Герцен еще писал, что как раз с самыми прогрессивными и симпатичными там и невозможно договориться. Стучишь головой о предел мира завершенного…

– В общем, тяжело, и доллар все время падает, – сказал старик Болотин. – Может, поэтому я ни разу не видел этих стран за всю мою жизнь. Знаю только из комментариев, что опять нет у них на Рождество индейки, а на Пасху яичек.

– На Пасху мацы, – сказал Чухин. – И главное – вражеское окружение, куда ни глянь. Мы тебя поняли, Владислав Евгеньевич.

– Ни хрена вы не поняли, – сказал Владислав с надрывом. – Не вражеское там бывает окружение, а дружеское. Дружеское, но мудаческое. Вот тут собрались мы все, и никто мне не доказывает, что ссыльным на восточном берегу Корсики тяжелее, чем в Магадане. Или что клошар пьет сильнее какого-нибудь нашего… Кого там?

– Бича из Совгавани, – сказал Коля.

– Или из Певека, – сказал Гена. Он повернулся и увидел Риту, которая несла на блюде из кухни пирожки собственного изготовления. Он подумал, что это ей идет и что пирожки ей удаются так же, как все остальное.

– Вот именно, – сказал обозреватель, безутешно жуя пирожок. – А здесь мне никто не толкует, что Франция – это страна алкоголиков. Да он, ихний вонючий клошар, он политуры не нюхал, он же сухое пьет.

– А зеленку он не пьет? – спросил Коля. – А тройной одеколон?

– Он небось еще душится одеколоном, – сказал Гена.

– А у нас… даже там, скажем, в посольстве. Любой человек меня поймет, только не покажет, конечно, какая-нибудь даже жена посла… – Он вдруг умолк, отчетливо вспомнив жену Беляева, их бывшего шефа. Потом пробормотал без связи: – Тоже, я вам скажу, подарочек… Уж на что сам он…

Впрочем, уже никто не слушал привычных нареканий Владислава на прогнивший режим Запада, потому что для большинства сотрудников редакции это было неактуально: поездка на Запад им не угрожала. Единственный же, кто выезжал, всегда был готов к выезду и даже томился из-за промедления, а именно ответственный секретарь Юра Чухин, этот единственный их западник, вовсе не разделял обозревательского пессимизма. В глубине души Чухин верил в идеальное устройство прогнившего Запада и в твердый курс доллара. К Владовой ортодоксии он относился с недоверием и подозрительностью, считал, что это, скорее всего, хитрая игра, политика дальнего прицела.

Разговор за столом уже давно перешел на блюдо с пирогами и Ритин кулинарный талант, когда Валевский, додумав до конца свою мысль, вдруг сообщил обозревателю:

– Насчет Герцена вы совершенно правы, Владислав Евгеньевич. Пристальное наблюдение за нравами Запада, плюс ностальгия, плюс личные дела – все это заставило Герцена коренным образом… Помните, как он стал писать о славянофильстве?

– Я все-таки обошелся бы без прямых терминов, – вдруг совсем трезво сказал шеф. – Есть страна, есть родина, ее правое дело, всегда правое. И никаких таких измов, никакого махизма, никакого фильства…

– Одно только фобство, – тихо сказал Болотин. Все слышали, но никто не отозвался: шеф еще не кончил свою речь. Шеф предложил выпить за дружбу. Этот тост, вероятно, подразумевал также дружбу народов. Например, дружбу великого советского и великого индийского народов.

– Бхай-бхай! – сказал разъездной корреспондент Коля, и все выпили.

А потом кто-то всучил хозяину дома гитару, и Гена запел. У него был слабый, приятный голосок, он не очень врал и вполне душевно исполнял чужие и даже свои песни. Спетое слово обретало под гитару особую поэтичность, словно ему возвращали изначальную красоту, свойственную ему в какую-нибудь далекую эпоху, когда, скажем, еще не говорили без умолку, а только мычали и пели. Так что Генины песни, спетые им в ряду с песнями Окуджавы, Галича и Высоцкого, с песнями безвестных гениев двадцатых и тридцатых годов, тоже проходили без возражений и даже имели своих поклонников (чаще поклонниц). Странное это было занятие, может, сродни заклинанию и молитве – когда ни стихи, ни музыка, ни даже певческие способности исполнителя не имеют значения, и душа человека раскрывается навстречу слову, звуку, и оба они, и певец и слушатель, словно бы становятся чувствительней, тоньше, лучше. Надо отдать должное скромному фоторепортеру Гене Бурылину – он умел выбирать песни, именно в этой узкой области сосредоточился весь его запас вкуса, так скупо отпускаемого нам природой. Он избегал могучего потока самодеятельной романтики, песен о чудаках, о зарождении любви, о минувшей войне, о штурмовиках и бронетранспортерах. Собственные песни его были странными. Зачастую они были настолько шире и просвещеннее, чем сам Гена, что иногда закрадывалось даже подозрение о наличии таланта. Иногда, впрочем, подозрения не возникало. Но в пьяной компании требовали уже известных песен или просто песен посмешнее. Например, «Графиня, мне приснились ваши зубы». Или отчего-то вызывающую смех песню про нищенку, малютку безногую, которая ползет по кладбищу («Басурманы в село понаехали, перевешали всех в три ряда…»). Иногда Гена и сам сочинял легкомысленные песни. Чаще всего в дороге. Последнюю он привез из летней командировки, где у него случился краткий и трогательный роман. Эту песню он и спел напоследок:

Как хорошо быть веселой блондинкой,
В меру грудастой и в меру жопастой,
Которую любит мужчина богатый,
В меру высокий и в меру усатый.
Как хорошо с ним сидеть на вокзале
Или уплыть в черноморские дали!
Но как изловить уходящее лето
Тощенькой женщине серого цвета?

Песня имела успех, как и все остальные. Она особенно понравилась Валевскому. И он пьяно требовал ее повторного исполнения. Потом был предложен тост за талант, и все выпили.

А потом пили за дам, за всех вместе и за каждую в отдельности, очень дружно пили за шефа, после чего ему позволено было удалиться, пили за Колебакина, который был в редакции председателем местного комитета, а следовательно, тоже хлопотал за квартиру, пили за высокую и плоскую печать, за петит, за долготерпение русского народа и просто за алкогольные напитки. Пили так много, что, конечно, ни один французский алкоголик не выдержал бы такого, и, вспомнив кстати об этих зарубежных слабаках, подняли еще один, патриотически-алкогольный, тост, после чего возбужденная, раскрасневшаяся Лариса, желая привлечь внимание очень пьяного и надменного Чухина и не зная, как это лучше сделать, спросила его, подпустив в голос интимной, журналистской правдухи:

– А скажите мне, Юра, тот мир, ведь он действительно катится в пропасть? Иногда читаешь и думаешь…

Чухин обернулся, глаза у него были пьяные и злые. Он припоминал что-то, недолго, всего минуту, но за эту минуту само собой воцарилось молчание, и Лариса, словно почувствовав, что она сказала что-то не то и не так, не в ту степь, затрепыхалась, как птичка, намереваясь объясниться, исповедаться, поправиться, но было поздно, потому что в последнее мгновение напряженной тишины раздался сухой и как бы ироничный, а на самом деле совсем пьяный голос Чухина, который вдруг поднялся из-за стола, чтобы уйти.

– Вас… – сказал он, опрокинув на столе стакан. – Вас неправильно ебут.

И пошел искать свой шарф и свою кепку, потому что уже надо было являться домой, а значит, все было кончено, и ничего больше ему не светило сегодня, да если бы и светило, то уже не было времени, и это он тоже рассчитал, хотя и совсем пьяный, потому что долго учился у старших товарищей пить не теряя расчета.

За столом шумно заржал шофер Валера, который тоже встал и сказал:

– Пошли. До такси тебя доволоку, начальник. Ну, ты дал сегодня…

Обозреватель Евгеньев с болью сострадания глядел на зареванное лицо Ларисы и думал о том, что вот, как ни мерзко это сочетание женщины с журналисткой, а все же она человек, женщина, и жалко – так он думал, хотя знал уже, что нельзя жалеть ихнего брата, пардон, сестру, уже все, нажалелся на целых четыре брака, пятьдесят процентов из жалованья долой, невыезд за границу и полное собрание анонимок, и все же нельзя вот так – пинком в морду. А Юра-то, Юра, додумался же, подлец, где он фразу нашел такую, неужели сам придумал…

Конечно, ответсек Юра Чухин ничего сам не придумывал, он был не по этой части и вообще презирал всю эту литературную возню, а только пересиживал в журнале межвыездное время, готовясь уехать в загранку. А фразу эту он слышал как-то в ресторане ВТО: елки зеленые, как он ее произнес, этот актеришка, так, будто он был какой-нибудь крупный человек из МИДа или у него был счет в швейцарском банке, вот как он это сыграл. Впрочем, и сегодня, кажется, сработала фразочка, так что если эта говнюха с ее копеечным наивом и девичьей челочкой думает, что раз он ее один раз по пьянке, исключительно из интереса к ее семейству, да по мгимошной памяти, то теперь он без конца будет…

– Подымем ножку, – сказал шофер Валера, выводя Юру из подъезда. – Вот так. А теперь рухай на скамеечку и спи. И не блюй. А я тачку найду, лады? Дай огонька, прикурю. Так, бля, зажигалка «Ронсон», оставляю себе, лады? А то, бля, все у меня кореша, все по загранке лазают, а я тут спичками царапаю. Ну, сиди, паря.

– Вот он, глубинный, – бормотал Юра, заваливаясь на бок, – посконный, исконный – сейчас вернется, туфли еще снимет. Народ… Интересно, долго они там еще возиться будут с оформлением?

Обозреватель Евгеньев понимал, что ему тоже надо вставать, надо уезжать домой. С другой стороны, подняться было уже трудно, а дома в любом случае ему предстояло выдержать бой, еще одно привычное сражение в бесконечной, давно проигранной войне.

– Заранее проигранной войне, – сказал он вслух и вдруг почувствовал, что кто-то гладит его по голове.

Он замер, думая о бесценной теплоте этого прикосновения. Потом открыл глаза и увидел Риту. Ну да, все с нее началось. Она, наверное, была лучшая из них, во всяком случае, первая, и тогда еще во что-то можно было верить.

– Ну что?

– Надо здесь помочь Гене, – сказала она. – Кто-то должен ему помочь. Днем мы с Ларисой помогали, а теперь ей надо уезжать.

– Я тебя довезу, старик, – сказала Лариса, отирая слезы. – Я в порядке. Минутная слабость. Уже прошла. Я сильная.

– Хорошо. Пойдем, – сказал обозреватель, с трудом вставая. – Мы, стало быть, последние. Ты ему помогай, Рита. Кто-то ему должен помочь. Кому-то ты должна помочь. А мы тут с ней, с минутной слабостью…

Он сам натягивал на себя плащ, бормоча:

– Воспользуемся минутной слабостью. Если нет вечной слабости. Прекрасной слабости. Прекрасный пол. Теперь у них сила… Мы идем?

Лариса твердо подпирала его плечо, все теснее обнимая за пояс.

– Ты думаешь, в чем твоя сила? – бормотал он, обваливаясь на стенку лифта. – Она в твоей слабости. А твоя слабость? Она в твоей силе.

– Да, я сильная, – сказала Лариса, сморкаясь, теребя платочек.

– Вот тут как раз твоя слабина. Но сейчас пока ты красноносая и слабая, иди сюда. Иди, иди… Жалко ведь… Иди…

– Прямо в лифте? – сказала Лариса, растерявшись.

– Прямо не выйдет… Ну, как выйдет… Иди…

* * *

– Я завтра сама домою, – сказала Рита. – Иди посмотри, как я постелила, – все правильно?

– Потрясающе. – Гена обнял ее с нетерпением. – Ты все делаешь правильно. Все. Ну, иди. Скорей.

– Ой, безумный… – сказала Риточка. – С ума сошел. Ты просто какой-то безумный. Порвешь, я сниму. Погоди. Всю меня порвешь. У, какой огромный!..

Она таяла у Гены в руках, становясь совсем маленькой, таяла, как мороженое во рту, как снежок в руке. Казалось, она растворяется в нем, входит в него. А как она чувствует его, как бьется у него в руках, бедная, маленькая птичка, воркует, вскрикивает, стонет, мотает головой на подушке… Он шел вперед, он был победитель, насильник, он подчинял ее, заставлял страдать, гордясь, что дает ей так много, что он может так много, что он молодой, сильный. Впрочем, так было у него не со всеми, но с ней всегда – она была замечательная, и, кажется, она по-настоящему его любит.

Гена вдруг зарычал, застонал, почти заплакал, потом захныкал чуть слышно и успокоился, упал ей на грудь, отдышался, спросил ревниво:

– А ты? Тебе как?

– Сам не знаешь, что ли? – ласково усмехнулась Рита. – Двадцать раз успела. Ты ведь такой, сам даже не знаешь какой…

Он долго лежал в полузабытьи, глядя в потолок, подсвеченный фонарем с улицы. У Гены было сладкое, полусонное чувство победы, свершения и облегчения тоже: вечеринка удалась на славу, а главное, все кончилось – переезд, хлопоты. И Риточка здесь, рядом, а ведь страшновато было сегодня, когда она вошла из кухни с пирожками, такая прелестная встала у стола – и все на нее, все десять рыл, уж он то знает этот мужской взгляд, тут ведь все не промах по этой части, а она так спокойно всех спровадила, последний Евгеньев, ну, тут у них ничего быть не может, потому что он бывший муж, да у него, у Евгеньева, этих жен и детей не счесть, и все же, когда она его, Евгеньева, погладила по голове, по-дружески, конечно, а все же момент был рискованный… Нет, все путем, Боже, какая она женщина, какая девочка…

– Ты не обидишься? – сказал Гена. – Засыпаю…

– Спи, спи, я и сама… Такой день…

Рита не спала. Смотрела в полумраке на скучные казенные обои, думала, что вот, это все можно сделать по человечески – и стены, и кухню, и ванную, и эту голую комнату, даже хорошо, что так, пусть голая, можно все начать сначала, существует много красивых предметов, удобных для жизни, не наших, конечно, заграничных, и качеством лучше, не такие, как у других, и сразу придают квартире нездешний вид, будто это не Ясенево-Орехово, а что-нибудь другое, удобнее, элегантней и фирменней. А еще бы лучше обмен, вдруг подумала она и сама удивилась этой мысли. Скажем, так: однокомнатную квартиру черт-те где плюс удобную комнату в малонаселенной квартире в центре меняем на двухкомнатную квартиру в приличном районе. А что удивительного – скоро двадцать восемь, надо когда-нибудь и свою семью, вот, кстати, опять подзалетела. Ребенка надо тоже, у всех дети, а то как-то выходит не по-людски. У Владислава вот уже трое – правда, от трех жен, но все же дети. А в чем оно, женское счастье, – вот в этом, наверное. Ну и с кем? С Геной? А что? Он молодой, симпатичный, шутник такой и при деле – а иногда у него набегает в месяц, как у Владика, иногда и побольше. Потом работа у него спокойнее, не такое кляузное дело, всегда кусок хлеба себе обеспечишь. И мать у него похожа на еврейку, судя по фотографии, а евреи для брака самое милое дело, еще тетя Шура говорила покойная, а уж у нее всякие были мужья. В редакции все останется по-старому, они все с семьями, а она что, хуже всех?

Молчала за окном орехово-бирюлевская ночь, многоэтажные бараки уходили вдаль за горизонт, пугали многолюдьем – каждый должен был искать убежище, спасаясь от судьбы…

Под утро Гена зашевелился во сне, обнял ее и, дыша все чаще, стал прижимать к себе ее тающее тело. Рита сказала ему на ухо:

– Знаешь, Ген, я подзалетела. Помнишь, тогда, в субботу, перед твоим отъездом? Я как чувствовала… Ну, ты опять за свое. Добился ведь уже своего, доволен?

Ребенок. У них будет ребенок. Это было нереально и трогательно в предрассветной мути Бирюлева. Их ребенок… Она сама еще ребенок, маленькая потерянная девочка. Ну, иди сюда, иди, вместе с ребенком. Ребенок, наш ребенок, наш, мой, мой, ой…

– Ух, какой ты, – шептала Риточка, глядя на разводы обоев и считая звездочки. – Ненасытный. Такой огромный, сумасшедший… Посмотришь на тебя днем – и не подумаешь, что ты такой. Тихий, вежливый, интеллигентный, а тут – зверь. Ну, возьми меня, возьми, сильней, еще, еще, нет, хватит, умру, ну давай же… давай, давай…

В десять, как обычно, началась летучка у шефа, привычное мероприятие, посредством которого начальство как бы осуществляет общее руководство и держит руку на пульсе редакционной жизни. И если для большинства сотрудников летучка была попросту бессмысленной,

хотя и неизбежной (как, скажем, поездка к месту работы в городском транспорте) потерей времени, для шефа она являлась наиболее существенным и ответственным моментом его трудовой деятельности. Во всяком случае, того, что принято у людей его круга обозначать словом «работа», иногда, впрочем, со скромным уточнением – руководящая работа.

На утренней летучке шеф должен был выступать. Он давал ценные указания, намечал курс, определял общее направление, доносил до сотрудников изустные тенденции и веяния, в то же время решая походя, как сказал лучший современный певец централизованного руководства печатью, мелочь дел. Обозреватель Евгеньев, довольно давно уж сидевший в журнале, не уставал удивляться этому ежеутреннему мероприятию. С особенным любопытством он всегда выслушивал новых шефов, которые вовсе еще не знали редакционной работы, но уже были вынуждены заряжать с утра своих сотрудников трудовым энтузиазмом на целый день, а то и месяц идеологической борьбы. Иногда эти новые шефы, спустившиеся к ним с неких высот, передвигались дальше, так толком и не узнав, чем же занимается вверенный им орган, однако это неведение не могло существенно изменить характер их утренних выступлений. Как и предшественники, они старались говорить о вещах очевидных – о том, что печать должна быть боевитой, что сейчас большое «внимание придается» или «значение уделяется» идейности и человеческому фактору, а также форме и содержанию, о том, что основной задачей было и остается ускорение производительности труда и борьба с сионизмом, который был и остается злейшим врагом трудящихся. Слушая на летучках нынешнего шефа Владимира Капитоныча, далеко не худшего из шефов, хотя, впрочем, не особенно сильного руководителя, Евгеньев с мазохическим восторгом отмечал каждый раз примитивный, прямо-таки жэковский уровень его речей.

Каждое его сообщение на летучке и через полгода руководства все еще оставалось простеньким докладом о международном положении, слегка оживляемым информацией о соображениях и слухах, циркулирующих в высоких сферах.

«Как можно, чтоб такой неандерталец…» – с неугасающим удивлением, хотя и без былой страсти, думал обозреватель. Мало-помалу он приходил к выводу, что выдвижение Капитоныча на такой пост не случайно и вовсе не связано с его особыми достоинствами. Вероятно, и на других, более высоких, чем простая редакция, уровнях тоже не боги обжигали горшки, и этим, точнее, тем, не богам было удобнее, чтобы здесь, под ними, сидел тоже такой вот не бог, серый и примитивный, но достаточно надежный Капитоныч; во всяком случае, он был надежнее, чем какой-нибудь многознайка и выскочка, пусть даже благонамеренный выскочка, который со своим неприличным многознайством и неумеренным энтузиазмом мог в одночасье нарушить экологическое единство, биоценоз серости и простоты.

Нынче у Евгеньева были особые резоны для подобных размышлений, ибо шеф дал ему для просмотра на предмет опубликования в их журнале собственные путевые заметки о недолгом казенном путешествии в Англию. Написание собственного опуса могло бы явиться в некотором роде дерзостью со стороны шефа, выходом в запретные воды литературного творчества, если бы только заметки эти не были такими серыми и по-школьному примитивными. С пристойным косноязычием шеф сообщал читателям, что видел Букингемский дворец, Тауэр, Хайгетское кладбище, Бэйкер-стрит и Скотленд-Ярд, и простенько, опираясь на русский путеводитель, объяснял, что это такое. Евгеньев, которому как международнику заметки эти были отданы на просмотр, с отвращением исправил в них два-три названия и передал Валевскому, чтобы тот совершенствовал стиль и грамматику руководства. Сейчас, мучительно вспоминая эти заметки, обозреватель утешал себя мыслью о том, что уровень читателя, в конце концов, может оказаться еще ниже шефова уровня, поскольку читатель вообще не был в Лондоне, так что заметки такого автора, который сам плоть от плоти читателя и тоже не читал всяких там Гамлетов и Диккенсов, могут дойти прямым путем до сердца рядового потребителя, знающего к тому же, чего следует ждать от заграничных заметок в журнале. Всеми этими праздными

размышлениями обозреватель тщетно пытался отвлечь себя от мыслей о боржоми или холодном грузинском вине – только что из холодильничка, – которые одни, вероятно, и могли бы поправить дело. Евгеньев вернулся от Ларисы очень поздно, точнее, уже под утро, вернулся изрядно пьяным, и теперь его мучило похмелье и раскаяние. (Автор должен уточнить, что эти небольшие нравственно-физиологические разъяснения по поводу состояния Евгеньева были здесь совершенно необходимы, ибо в противном случае у читателя могло бы сложиться впечатление, что обозреватель Евгеньев настроен критически по отношению к общему устройству, а это было бы далеко от истины и даже противоположно ей. Увидев собственными глазами абсурдный маразм и разложение буржуазной действительности, а также ее неуклонную и неудержимую тоску по социализму, Владислав Евгеньевич утвердился в мысли, усвоенной им еще в курсе обучения, о том, что наша действительность есть не только единственно приемлемая, но и лучшая из всех существующих на земле: именно поэтому она и притягивает к себе как магнит все пылкие сердца…)

– Итак, посмотрим, что у нас сделано по номеру? – заглядывая в план, сказал шеф. Обычно он доверял эту тягомотину с планом своему заму Колебакину или Валевскому, которые, согласовав все с сотрудниками, предоставляли потом шефу готовую сводочку, однако сегодня, глядя на вялые страдающие лица сотрудников, шеф решил показать пример бодрости и трудового энтузиазма, несмотря ни на какие временные трудности похмелья. – Как ваши дела, Николай Алексеевич? Что у вас для номера?

– Есть один небольшой материал… Деревенский мальчишка, школьник, прекрасный математик. Простой пастушок из Подмосковья – и чуть ли не теория относительности.

Коля говорил медленно, с трудом припоминая, что она ему там талдычила про своего девятиклассника, эта дура учительница на окраине Яхромы, – бедра у нее были богатейшие, вообще все было в большом порядке, но потом началась вся эта свистопляска, снова закапало с конца, так что приходится вот проводить расследование… У Коли была своя сложная система вычисления, от кого и когда он мог подцепить эту дрянь; впрочем, в последнее время хроника, постоянные осложнения и какие-то неистребимые грибковые инфекции сделали эту систему малоэффективной; к тому же молодняк, ох уж эта нынешняя молодежь, молодняк – верняк, так и жди, что наскочишь, жди – и непременно дождешься, что-нибудь да возьмешь…

Эти и подобные им заботы, обременявшие его мозг, мешали сейчас жизнерадостному и находчивому Коле достаточно ярко живописать малолетнего Лобачевского из села Лишенино, однако на помощь ему неожиданно пришел Валевский.

– Что ж, я думаю, это очень интересно, – сказал Валевский. – И вполне, так сказать, на линии. Вы знаете, конечно, что «Молодая гвардия» дважды за последнее время издала книжку о Пуанкаре…

Шеф глубокомысленно кивнул, гадая при этом, какое отношение к ним имеет французский деятель Пуанкаре-война и как Валевский выпутается из своей ахинеи.

– Речь идет, как вы поняли, о знаменитом французском математике Пуанкаре, – продолжал Валевский, – который и открыл на деле теорию относительности, задолго до того, как о ней с такой рекламой стал трубить ловкий агент компании швейных машинок…

– Зингер, – радостно угадал шеф.

– Почти, – сказал Валевский. – Его звали Альберт Эйнштейн. Так вот, тут можно очень тонко дать – от великого Пуанкаре к русскому босоногому мальчишке – линию таланта, и заметьте, ни тот ни другой не ищут славы, в противоположность тем, кто умеет так ловко доить чужие изобретения, из всего извлекая выгоду.

– Неплохо. Совсем неплохо, – сказал Колебакин. – У нас и стихи есть к случаю. Посмертные стихи Голубцова, друзья отыскали в армейской стенгазете. «На земле, где так отчаян жидконогий род пройдох…»

– Да-а. Остро, – сказал шеф. – Если вы считаете, что это не будет чуть слишком.

– Отчего же? – сказал ответсек Юра Чухин. – Простое русское слово – «жидконогий».

– По контрасту там что будет? – спросил Коля. – Толстоногий? Крепконогий? Толстолягий? Густоногий?

– Хотя бы и так, – сказал Валевский. – Сразу дает нам образ крестьянина, прочно стоящего двумя ногами на почве национальной действительности. У нас будет, кроме того, подборка Петухова, так я понял?

– Будет, – с достоинством сказал Колебакин.

– Ну что ж, на этом можем и кончить… – сказал шеф. – Вы, Николай Алексеевич, завершайте вашего Кулибина. Возьмите еще командировку, если надо, и добивайте. За работу, товарищи!

* * *

Обозреватель Евгеньев питал слабость к художественной литературе. Он ничего никогда не писал сам (если не считать комментариев, которые он считал произведениями антихудожественными), но в детстве, под влиянием книгочея-отчима, и потом, в трудную пору каждого из четырех своих неудачных браков, и даже до того – в глухой тоске заграничного безлюдья и полуобщения – он успел прочесть немало хороших стихов и хорошей прозы. Он обмирал от неожиданной строки Блока и Гумилева, Мандельштама и Тютчева, от прозы Бунина и Набокова, и он привык с удивлением, с пиететом думать о людях, которым доступно такое вот колдовство над словом.

Позднее, придя в журнал, он столкнулся с совсем другим, не то чтобы вовсе ему не знакомым, но как-то всегда проходившим в стороне от него, где-то в чужой и чуждой ему жизни потоком литературы. Авторы их журнала писали так, будто не существовало до них ни великого XIX, ни блистательного XX века русской литературы и как будто уроки их ничего не значили. И кто-то с безошибочной точностью отбирал для печати всю эту тяжеловесную бездарность. Можно было подумать, что этот дальновидный некто специально выискивает и отдает в печать серые, безрадостные произведения, чтобы не изощрять вкус читателя. Впрочем, редакционные будни вскоре убедили Евгеньева, что есть и другие, не менее важные, хотя в плане идеологическом менее выдержанные принципы отбора. Во-первых, деловой принцип, реалистический и даже финансовый. Все партийно-литературное начальство что-то кропало в редкие часы досуга и считало себя «пишущим» людом и даже «пишущей братией» («наш брат писатель», – говорили они скромно). Все эти продукты их необязательного писания, конечно, следовало обязательно печатать, и притом в первую очередь. Это была надежная суконно-серая проза о становлении советской власти на селе, о боях давно минувшей войны, о новаторах и консерваторах производства, о бестелесных его командирах, совершающих мелкие ошибки, которые обрекают их на неадекватные муки, но в конце концов выводят на дорогу партийной истины. И сюжет, и самые слова этих творений были так хорошо знакомы всякому, что их можно было даже не читать перед печатанием и уж вовсе необязательно было читать после выхода в свет. Кто-то все же, вероятно, читал, потому что другое-то почти не выходило годами, а народ у нас в России читающий. Начальников же было достаточно, чтобы заполнять портфели журналов и жиденькие (а может, и жидконогие) планы издательств.

Так что, по существу, доминировал деловой, коммерческий подход к изданию. Однако, не смущаясь коммерческим (по-новому, конечно, коммерческим – выгоды извлекают не издательства, а держатели акций литературной власти) характером подобных публикаций, Колебакин, Валевский и другие политики ухитрялись при этом все же сообщать журналу видимость единого идейного направления, которым они гордились. Потому что они не просто устраивали свои и чьи-то дела, эти люди, – они были идеалисты, которые радели о России и чистоте отечественной словесности. Наряду с совершенно мафиозным (вполне в стиле XX века) принципом

исключительной поддержки на взаимовыгодных началах, у журнала существовал набор символов, небольших, но важных убеждений и предупреждений, литературных симпатий и антипатий. Направление выдавало себя за «славянофильское» и гордилось, когда одни из лести, другие по невежеству тоже называли его так. Оно выдавало себя также за «почвенническое», за деревенское и оттого поддерживало (несколько в стороне от главных своих целей) литературу о деревне, породившую с полдюжины талантливых произведений, а также целый поток серых эпигонских и просто беспомощных. К сожалению, эти талантливые не попадали в популярный орган, возглавляемый Колебакиным и Владимиром Капитонычем, которому, впрочем не в ущерб делу, доставались именно серые. Наиболее точным словом, определившим бы направление, которого придерживался журнал, был бы все же старинный эпитет «юдофобский», потому что этим эпитетом обозначено было бы поистине живое и страстное чувство, сплачивавшее всех участников направления, а может, и обеспечивавшее ему наиболее широкую поддержку откуда-то извне. Конечно, поводом для такой поддержки могли явиться и другие охранительные идеи журнала, а также другие симпатии, например любовь к военной дисциплине и к милиции, признание тотальной безупречности любого из периодов отечественной истории и воспевание наиболее имперских ее периодов и акций. Может, именно этим объяснялась возможность столь долгого существования в единообразном русле отечественной мысли столь своеобразного как бы даже отклонения в сторону. По либеральному мнению, это было отклонение вправо, ибо неисправимые либералы все еще судили так, будто понятие левого и правого сохраняло какой-то определенный смысл в эпоху всеобщей эсхатологии.

Здесь надо сразу оговориться, что этими убеждениями, символами направления были по-настоящему озабочены лишь очень немногие люди, каких даже в столь боевом органе, как «тонкий» журнал Владимира Капитоныча, было только двое – замглавного Колебакин да заведующий отделом литературы и искусств Валевский. Сам Владимир Капитоныч, конечно, тоже проводил и разделял основную линию, но только постольку, поскольку она была в настоящий момент ему рекомендована ближайшими друзьями и покровителями, его сюда посадившими. Переменись завтра само направление и требования к журналу на противоположные, Владимир Капитоныч, как человек исполнительный, порядочный и благодарный, не усомнился бы перемениться вместе с ними, перейти на что-нибудь иное и даже вполне противоположное, например на восстановление норм законности, на борьбу с пьянством и даже пролетарский интернационализм. Остальных сотрудников журнала все эти идейные страсти волновали даже меньше, чем шефа. Если взять, например, международного обозревателя Владислава Евгеньева, то он, хотя и принимал участие во всех важных редакционных совещаниях, имея там право голоса, хотя и заполнял журнал исправно материалами, бичующими международную реакцию и ее самое злобное воплощение на земле с лице сионизма, на самом деле вовсе не был захвачен той главной задачей, выполнению которой с такой страстью отдавались Колебакин и Валевский.

Как уже было упомянуто в самом начале этого исторического пассажа, обозреватель Евгеньев питал слабость к художественному слову и потому такое событие, как приход в редакцию известного поэта (а еще более известного литературного начальника) Олега Ивановича Петухова, не могло для него пройти незамеченным, тем более что, придя в редакцию, знаменитый поэт не застал там никого, кроме Евгеньева: все остальные в срочном порядке были мобилизованы на непредвиденный митинг, которого Евгеньев избежал самовольно, так сказать, явочным порядком. Оставшись один в тиши редакции, он предавался разгадыванию кроссворда.

Петухов не скрывал своего неудовольствия тем, что Колебакин, не дождавшись его, помчался сломя голову на какой-то очередной митинг, а потому, даже не сняв с головы большой парижской кепки и не размотав пушистого шарфа, он бросил на стол тощую пачечку стихов и, не простившись, спустился к ожидавшей его черной «Волге».

Поэт не произвел на Евгеньева сколько-нибудь отрадного впечатления. Это был знакомый еще по прежней работе тип немолодого располневшего чиновника с толстым бабьим лицом, носившим на себе следы долгих заседаний, неумеренной выпивки и столь же неумеренной закуски. Натягивая у дверей перчатки, поэт кратко объяснился с Евгеньевым на тот счет, как нехорошо было со стороны Колебакина назначать ему, человеку занятому общественной и партийной работой (не говоря про творческий процесс), деловое свидание в то же самое время, что и митинг, пусть даже непредвиденный митинг или даже, к примеру, траурный. Внимательно слушая его краткую речь, Евгеньев с любопытством отмечал, что канцеляризмы почти не изгладили в ней вполне симпатичные следы северорусского говора. А когда поэт ушел, точнее, когда отъехала его черная «Волга», Евгеньев, отложив кроссворд, с самым беззастенчивым любопытством взялся за чтение его стихов (беззастенчивым потому, что стихи эти предназначались вообще не для чьего-либо чтения, а прямым путем для печати). Из этих стихов, написанных очень просто и незамысловато – как пишутся девяносто процентов стихов, предназначаемых для стенной газеты или заводской многотиражки, без всяких там поэтических ухищрений и малейшей претензии на образность (это несколько удивило обозревателя, ибо всего месяц назад ему пришлось читать корректуру статьи Колебакина, посвященной стихам Петухова, и эта статья называлась «Образное слово»), – из стихов этих Евгеньев узнал, что в юности Петухову пришлось быть на войне, а также пережить весьма умеренный материальный достаток. Последнее, конечно, могло бы растрогать человека, знакомого с нынешним блистательным положением Петухова, но поскольку сведения о благосостоянии автора редакциям не сообщаются, то Евгеньев подумал, что читателю, живущему в массе своей вполне скромно, сообщение это может показаться малоинтересным. Впрочем, главной темой петуховских стихов, конечно, была война, воспоминания о войне, размышления и воспоминания о воспоминаниях. По существу, Петухов не мог сказать о войне ничего нового, и в этом трудно было винить старого воина: сотни тысяч строк уже были написаны о том, как наши воины стреляли по врагу из окопа, мстя за боевых товарищей, как они победоносно дошли до Берлина и как теперь солдату без конца снится война. Об этом писали поэты старшего поколения, которые давно или недавно умерли, писали поэты двух или трех последующих поколений, которых война застала детьми или младенцами, и, наконец, с еще большей неутомимостью писали молодые поэты, которые войны не видели вообще, но зато много о ней читали стихов и прозы. Петухов, судя по всему служивший в армии еще во время войны, имел больше прав для того, чтобы не уставая слагать стихи, в которых с неизменностью рифмовались бы «солдаты» и «закаты», «дороги» и «тревоги», «атаки» и «контратаки». Человеку его особенной судьбы и не надо было слишком уж изощряться в версификации, чтоб быть оцененным по заслугам, – достаточно было сообщить в рифму несколько существенных анкетных подробностей – где служил, сколько, в каком роде войск, в каких участвовал операциях. Впрочем, Петухов не спешил раскрывать географию своей службы, не в географии дело. Он трогательно и неторопливо рассказывал о том, как он спускается в сырой подвальчик, где хранится старая пачка его фронтовых писем, и там часами умиленно читает свои простые бесхитростные строчки. Как все поэты, Петухов много стихов посвятил своим собственным стихам, их боевым качествам: он сообщал, что его «строчки, как взвод на рубеж атаки», смело свершают свои контратаки, что они наливают кровью сердца, что они разят врага, как когда-то разила его трехлинейная винтовка и другие более совершенные виды оружия. От стихов про сырой подвальчик и пачку писем на Евгеньева повеяло вдруг томительным запахом липы. Известно было, что Петухов живет в престижном многоэтажном доме, где нет никаких подвальчиков (даже сырых чуланчиков в современном престижном доме не было, хотя, впрочем, был туалет, который мог, конечно, слегка отсыреть, и тогда подвальчик был просто поэтическим образом). Известно было (хотя бы из статьи Колебакина), что почти сорок лет, истекшие со времени его демобилизации, Петухов неизменно пишет все о тех же нескольких месяцах своей армейской службы, так что даже сомнительно

было, чтоб он держал эту жидкую пачечку своего бесценного писательского архива в столь ненадежном и сыром месте (разве что он прятал его для безопасности в противоатомном бункере). Такой явный обман чуть было не отвадил Евгеньева от дальнейшего чтения начальственной поэзии, и он начал уже с небрежностью долистывать подборку, когда наткнулся на две строчки, которые вызвали у него не меньший прилив энтузиазма, чем выход после долгой кроссвордной муки на удачное девятибуквенное слово, означающее холл. Среди сравнений, характеризующих боевые качества его собственных фронтовых писем, поэт полагал и такое:

Чем-то похожа на щель амбразуры
Черная строчка в средине письма…

Дальше поэт с умилением объяснял, что это военная цензура слегка помарала тушью его солдатское письмо для его же, конечно, петуховской пользы, чтобы он, дурашка, не болтал лишнего. То есть перо цензора в ту тяжкую пору разило врага не хуже, чем боевая винтовка, а может, как знать, – лучше, надежнее. Вот здесь Евгеньева и осенила счастливая (хотя и бесполезная – точная аналогия с решением кроссвордов) догадка: это он, Петухов, и был цензором, потому что ведь не стал бы солдатик, даже и давно разжиревший, с таким восторгом разглядывать собственное кем-то измаранное письмо да еще сравнивать эту обидно недоступную сейчас для прочтения юношескую строчку со щелью амбразуры… Нет, что ни говори, товарищ Петухов был все-таки прирожденный поэт – даже нагромоздив такие кучи вранья по вполне коммерческому шаблону, он не мог не сказать о себе правды. Да, конечно, он был плохой поэт, но это уже была не вина его, а беда. Может, он был при этом хороший идеологический начальник или добрый семьянин.

Долистав петуховскую пачку почти до конца, Евгеньев наткнулся на записку, адресованную Колебакину, и прочел ее без всяких угрызений совести: «П. Е., здесь начинается новая линия моего творчества. Я пишу теперь исторические стихи, которые… и так далее». Так и было написано «так далее», потому что лишнего времени на выполнение колебакинской работы у Петухова не было: объяснять – дело Колебакина. Стишата были так себе. В раздольной русской степи колышутся травы; иногда попадается ржавая железка или еще какая-нибудь дрянь, из чего поэт делает вывод, что давно «сгинули нерусские толпы», «отринула их русская земля», пожгла всех до единого, так что ныне «эти толпы с каганами и своими кагалами погребены» под сенью русского ковыля. Порывшись в памяти, обозреватель вспомнил, что неразумные хазары и их еще более неразумные каганы исповедовали не безобидное мусульманство, а самый настоящий иудаизм, что придавало историческому стиху непредвиденную остроту. Именно слово «кагал» все ставило на место: это было одно из любимых словечек Валевского (наряду со словами «гвалт», «гешефт» и «хохма»), оно придавало определенную окраску предмету описания (будь то театр модерна, книжная толкучка или замученный в лагере литератор), внутренне сближая его, этот предмет, с напрасно охаянной чертой оседлости, с пресловутыми гениями двадцатых годов и с мировым еврейским капиталом, злейшим врагом всех времен и народов. Это все были знакомые игры, и обозреватель подумал, что Колебакин будет в восторге от стихов Петухова (впрочем, с чего б это ему не прийти в восторг от стихов столь высокого начальства).

* * *

Обозреватель Евгеньев не обманулся. Колебакин был искренне рад получить стихи Петухова и пришел в волнение, прочитав их, потому что Колебакина по-настоящему волновали судьбы родной литературы. Сам он писал так тяжело и неудобочитаемо, что самая мысль о возможности какой-то там развлекательной функции литературы и журналистики казалась ему

унизительной. В живости письма он видел происки Запада и мирового еврейства (это они строчат легко и легковесно, воистину жидконого, тысячу раз прав был поэт). Литература представлялась Колебакину кровавым полем сражения, где сам он, подобно великану, ворочает тяжеловесные глыбы фраз, пытаясь придавить ими литературного врага, который и есть одновременно враг всего правильного и народного. Это святое служение правде Колебакин принес в журнал, и видно было, что мысль о том, чтобы написать легковесно (или хотя бы легко) о чем угодно, даже об Алле Пугачевой, клоуне Попове или вокально-инструментальном ансамбле «Голубые ребята», представлялась ему кощунственной. Сам Колебакин сочинял свои опусы в тяжкой муке, поливая страницы потом, с трудом сводя концы с концами в умученной и мучительной полурусской фразе. Тем не менее оставить что-нибудь в номере нетронутым, не переписанным собственноручно он соглашался лишь изредка, по недостатку сил или времени.

Может быть, именно тот факт, что презренное, жидконогое племя обладало необыкновенной, греховной легкостью письма, и породил в свое время тяжкую ненависть Колебакина к народцу, во множестве рождающему бессовестных киношников, болтливых спортивных комментаторов и ловких журналистов. Да, и еще, конечно, театральных режиссеров, заносчивых извращенцев, которые только и мечтают взять что-нибудь святое – Толстого, Гоголя, Островского или Чехова – и замарать, извратить. Испохабить своими мейерхольдовскими штучками, своими трюками, опереточными хохмами, – всех этих Мейерхольдов, Плучеков, Эфросов и прочих и прочих. О, они были великие мастера делать себе рекламу, поднимать шум по поводу каждого своего кунстштюка. Даже из несчастий, из великого народного бедствия, каким была война, из собственной смерти, наконец, они умели извлечь посмертную выгоду – как, скажем, этот паяц Мейерхольд или жалкий извращенец Мандельштам, которого в редакционном кругу давно уже принято было называть Манделем. Литература в представлении Колебакина была узкой и крутой лестницей славы, на которой жидконогие всю жизнь теснили его, прижимая к перилам, обгоняя без зазрения совести. Не обремененные тяжким грузом истинного слова, они прыгали вверх через ступеньку, нагло шастали куда и не придумаешь. А Колебакин поднимался трудно, писал мучительно тяжко и честно. Так что ж, разве настоящее слово не должно рождаться в муках, разве литература – это не мучительные роды?

В последнее время положение, слава Богу, поправилось. Солидные люди из хороших, исконно русских областей и районов пришли к кормилу, и литературный корабль вышел наконец в глубокие воды народности. Вот тогда мнение Колебакина и стало весомым, долготерпение его получило высокую оценку. Его работы стали нарасхват среди издателей. Писал он, впрочем, по-прежнему мало, родное слово давалось ему тяжким бурлацким трудом, ускользало из пера, как неродное, всякий раз вызывая сомнения в своей достоверности, в самой своей дозволенности. Оттого, несмотря на рост жизненных успехов, ненависть Колебакина к шустрому племени не убывала, он оставался таким же честным и непримиримым бойцом.

Ему, конечно, не приходилось теперь унизительно бороться с бойкими борзописцами за место в журнальной полосе – любой орган предоставит ему теперь свои полосы. Да что там, каждая заметка его, каждая статья печаталась и дважды, и трижды, как, например, «Выстраданное слово», вошедшее в два сборника, до того напечатанное в виде предисловия, а также в журнальном варианте. Однако теперь борьба Колебакина с коммерческим племенем стала шире, глобальнее, принципиальней, тем более в настоящий, текущий, момент, когда эти жалкие людишки, долго прятавшие свой звериный лик под напомаженной внешностью жертвы, обнажили нутро сионизма.

Именно такие мысли вызвало у Колебакина чтение новой подборки стихов Олега Петухова, и Колебакин хотел немедленно поделиться этими мыслями с Валевским, который хотя и имел вкус, несколько подпорченный неумеренным чтением, однако вполне правильно понимал главные задачи момента. Оказалось, впрочем, что Валевский куда-то ушел и на местах оставались только Риточка и Евгеньев.

Риточка была умная девочка, с ней всегда можно было поговорить откровенно. Она не лезет к тебе в душу со своими журналистскими задумками и неприкрытой интимностью, как эта чумовая Лариса, но видно, что Риточка понимает твои мысли и может им сочувствовать. Прошлым летом, когда Колебакин диктовал ей свое «Образное слово», исчирканное вдоль и поперек в борьбе за большую весомость речи, – он имел возможность убедиться, сколько настоящего молчаливого понимания может проявить женщина. Ведь чужая, казалось бы, женщина, не твоя собственная жена… Ведь как раз здесь, в этом лоне человек должен получать, но не получает молчаливого понимания, и это трагедия, пришедшая к нам с Запада, с берегов Америки и Франции, где женщина давно перестала быть подругой и стала обыкновенным вампиром обогащения.

Напротив Риточкиного места, развалясь за столом в своей обычной усталой позе (Чем же он так утомлен, голубчик? Жениться надо было реже!), сидел обозреватель Евгеньев, человек хотя и достаточно исполнительный, но все же не вносящий нужной страсти в свое такое в настоящий момент выигрышное дело, как разоблачение мирового сионизма, крупного еврейского капитала, декадентского искусства Запада, масонства и ЦРУ – все одна шайка, одним миром мазаны. Когда Колебакин читал международные комментарии, ему всегда казалось, что все эти их посылки не имеют никакой логики, никакого смысла, никакой зацепки в жизни и не пробуждают в сознании читателя нужной страсти, а, наоборот, усыпляют его привычностью оборотов. С другой стороны, комментарии, которые готовил Евгеньев, всегда безболезненно проходили визирование в МИДе и не влекли за собой никаких осложнений, он сам и его авторы были безупречно аккуратными, так что вмешиваться в его работу не представлялось никакого повода. Нельзя было даже сказать, чтобы Евгеньев не любил свой предмет или не верил в правоту нашей внешней политики, – совсем наоборот. А все же страсти на главном направлении в нем, кажется, не было: это был человек дипломатии, а не человек литературы и публицистики. Конечно, он в своем роде был надежнее, чем ответственный секретарь Чухин, который, как часто подозревал Колебакин, просто примазался к движению, поскольку он оказался в их, а не в другом журнале, и вообще в прессе он временно отсиживался, поскольку ждал нового оформления, случайно не находясь в данный момент за границей. К материалам, рекомендуемым Чухиным, надо было проявлять особую осторожность, потому что в них заметна была снисходительная небрежность их авторов к делу печати…

Колебакину очень хотелось сейчас поделиться с Риточкой мыслями, возникшими у него при прочтении стихов Петухова, но присутствие Евгеньева отчего-то смущало замглавного. Во-первых, Колебакин не был уверен, что Евгеньев разделяет его чувства. Порой у него даже создавалось впечатление, что Евгеньев интересуется поэзией, и все же Колебакин не мог с уверенностью сказать, что интересует его именно та поэзия, которую должен любить русский человек. Во-вторых, Колебакин опасался, что то трогательное, даже, можно сказать, интимное литературное и человеческое понимание, которое установилось у него с Риточкой в счастливую пору его работы над «Образным словом», могло быть разрушено присутствием третьего лица. Тем более что Евгеньев был когда-то мужем Риточки и она, как известно, была его первой женой, единственной из его жен, которой он не платил алиментов и с которой (может, именно вследствие этой последней подробности) сохранил добрые товарищеские отношения. Говорили даже, что это Евгеньев устроил Риточку в журнал, но что было это давно, еще до его женитьбы на первой жене Валевского и его нового развода, который надолго закрыл для него выездную работу.

Все же Колебакин не удержался, спросил у Евгеньева небрежно:

– Вы не просмотрели новые стихи Петухова, Владислав Евгеньевич?

Сонное лицо Евгеньева стало еще более сонным. Он вовсе не считал себя человеком слишком сдержанным или умным, – наоборот, друзья всю жизнь любили его за простодушие, за откровенность и незлобивость, столь редкие на скользкой стезе выездной работы. Однако

вступать сейчас в дискуссию с Колебакиным ему не хотелось: Колебакин был, на его взгляд, безнадежно бездарен, невежествен и скучен, к тому же еще и воинственен, а сейчас стоял у кормила (они все теперь неплохо кормились). Так что он был небезопасен, и Евгеньев ответил, сохраняя на лице сонную мину, которую перенял когда-то в юности у старых английских дипломатов:

– Какие там стихи, шеф? У меня еще последняя речь Громыко не читана, да три комментария ждут очереди. Это вы, любимцы муз, парнасцы, баловни литературы…

Последнее было издевкой, которую тупой Колебакин мог принять только за лесть. Чуть утрированную лесть, с легким юмором, а все же приобщение к большой литературе не могло не льстить Колебакину, до сих пор втайне испытывавшему страх, что литература в конце концов не примет его в свои ряды, громогласно объявит в один страшный день, что он просто чиновник, что он примазался…

– Да уж… – в тон усмехнулся Колебакин. – Корпишь тут с утра до вечера. А теперь еще надо в райком.

Колебакин, взглянув на часы, нежным голосом сообщил Риточке, что он ушел в райком, и направился к двери, полами своего старомодного и добротного плаща из габардина сметая бумаги с тесно составленных столов.

Риточка, подняв на Евгеньева полные слез глаза, сказала:

– Когда тетя Шура умерла, я знала, что у меня теперь должна родиться девочка. Так и есть…

– Подзалетела, значит, – сказал Евгеньев.

– Помнишь, ты у меня был после праздника… Я как знала.

– Так и бывает, – сказал Евгеньев, настраиваясь на лирический лад. Он уже привык к тому, что все женщины, с которыми он общается, немедленно берут курс на брак и беременность, настоящую или понарошку. Он уже привык к объяснениям вроде сегодняшнего – он мог бы насчитать их в своей жизни десятки, а может, даже и сотни, и из каждого он выходил с потерями. Правда, сейчас он был надежно защищен от новых оргмероприятий своим четвертым браком и бесчисленными анонимками второй, а особенно третьей бывшей жены, и все же…

– Подумаем, – сказал он. – Если хочешь, я позвоню Фиме. Да ты с ним, собственно и сама.

– Да, я сама, – согласилась Риточка. – Но я бы хотела оставить ребенка.

Что ж, это был тоже знакомый вариант. Все женщины, с которыми общался Евгеньев, хотели иметь от него ребенка. Евгеньев подумал, что ребенок вполне может быть белым, черным, желтокожим, но все равно он будет ребенком Евгеньева и Евгеньев будет ему отцом, потому что природа создала его для брака и отцовства, это не худший его удел на земле, и он должен нести это бремя с достоинством.

– Ну что же, – сказал он. – Вырастим еще одну дочку.

– Тебе-то что думать, – сказала Риточка, смягчаясь при виде его покорности судьбе. – Сам как в шелку…

По коридору из последних сил бежал кто-то немолодой, страдающий одышкой.

– Надо поговорить всерьез, – сказала Риточка. – Сегодня нельзя. На той неделе, ладно?

– Конечно, – сказал Евгеньев. – Непременно поговорим на той неделе. Когда сможешь. И все сделаем, как ты хочешь. А сейчас я, пожалуй, поплетусь. Время уходить. Тебя подвезти?

– Не надо. Я еще посижу. Пока-пока.

Риточка сделала для него любимую гримаску – разгневанного поросенка, и он улыбнулся ей от двери, застегивая молнию на своей голландской куртке (уже очень неновой, но все еще элегантной).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.